

Валентина Голубовская – Олег Губарь

Вокруг «Онегина»

Роман в письмах

Письма в последние десятилетия пишут все реже и реже. Перешли на телефонный обмен информацией, на электронную почту. А уж романы в письмах...

Вспоминаешь «Персидские письма» Монтескье или «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Правда, в двадцатые годы Вячеслав Иванов и Михаил Гершензон, находясь в одном и том же голодном и холодном Петрограде, написали и издали «Переписку из двух углов». Попытался уже в нашу эпоху оживить этот жанр Вениамин Каверин, создав блестящую имитацию – роман «Перед зеркалом»... И, пожалуй, все.

А тут во Всемирном клубе одесситов завязался разговор, спор Олега Губаря и Валентины Голубовской, который вылился в... два десятка писем о Пушкине, Онегине, в конце концов – о себе. Роман ли это? А что такое роман? Исследование? Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет? А разве так важно поставить определение, дефиницию, диагноз? Признаюсь лишь, что мне как «почтальону» читать эти письма было интересно. А раз так, у них могут появиться и другие читатели. Все началось с разговора об образовании Онегина...

Евгений Голубовский

«Дорогая Валя!

Вероятно, в этом «образовательном сюжете» есть какая-то недоработка. Небрежность. Французский аббат не укладывается в габариты прототипа. С одной стороны, в черновиках подчеркивается его значительность («швейцарец благородный», «швейцарец очень строгий», «швейцарец очень важный», «швейцарец



очень умный»), с другой – это тот же Бопре из «Капитанской дочки», которого опять-таки «прогнали со двора». Швейцарец, несомненно, уроженец французского кантона, республиканец на деле. Кроме того – это мое личное предположение – кальвинист. Но в результате каких-то манипуляций он превратился в аббата, то есть типологического иезуита, каковые и строили пансионную систему воспитания в России. Но, так или иначе, парадокс наличен («прогнали со двора»), если не понимать ситуацию метафорически, а именно: в 1815 г. иезуитов прогнали из обеих столиц, а в 1820-м – отовсюду. Тогда-то аббат Николь оставил свое детище – Ришельевский лицей. Если понимать «гонение» так, то Пушкин – как обычно, умница и сукин сын.

Формально аббат-иезуит, конечно, давал своему питомцу вполне достаточный для светского очковтирания запас эрудиции – латинские и французские крылатости и т. п.

Вопрос в другом – а не пропущено ли какое-либо пансионно-лицейское образование Онегина?

По убедительным расчетам, Онегин 1795 г. р., и, согласно отвергнутому двустрочию,

И лет 16-ти мой друг
Окончил курс своих наук.

О том же – «когда же юности мятежной», то есть учился он в отрочестве, лет до 15-ти или 15-ти с хвостиком. Получается – до 1810-1811 гг. Стало быть, никак не в Лицее (19 октября 1811 г.). Ничего мы не знаем и о приготовлении к военной карьере – отпадают «корпусы» и т. п. Нечего говорить и о, скажем, Институте инженеров путей сообщения. Теоретически он мог учиться только в СПб., пансионе тех же иезуитов, но в этом мало смысла, коль скоро наставником его был тот же иезуитский аббат.

Короче говоря, из всех щелей прет лишь подтекст о поверхностном образовании, в духе дендизма. Это специфическое щегольство – на манер принципов «новых русских». Житейский практицизм (Адам Смит) в противовес сомнительным геттингенским плодам отвлеченной учености.

Если обратиться к реестру интеллектуалов (сверстников Пушкина), выяснятся презабавные вещи. А именно как раз то, что большинство из них получило «онегинское образование». И при этом продвинулось куда дальше героя романа. В том числе – военные, отличавшиеся начитанностью не меньше, чем карточными долгами. Что до Онегина – это во всех отношениях довольно посредственная фигура. Это не лучший из худших и не худший из лучших. Это, как ни банально, – явление типологическое. Не среднее, выше среднего, но и только.

Впрочем, кажущаяся лакуна в тексте есть, обо что-то как бы спотыкаешься. Об авторское легкомыслие, должно быть.

Обнимаю пристрастно.

Целую повсеместно

Губарь»

«Дорогой Олег!

Должна признаться, что мое легкомысленное замечание по поводу некоторого «провала» в онегинском образовании, вернее, пушкинских сообщений об этом предмете, никак не рассчитано было на столь учтивый и глубоко аргументированный ответ. Дело в том, что я просто поделилась радостью какого-то совершенно свежего

(исключительно для самой себя) прочтения знакомых строф, отрешенного от многих и многих комментариев почтенных и заслуженных пушкинистов.

Во время очередной бессонницы, вновь-таки обращаясь к любимым строфам, я обнаружила (опять же исключительно для себя) нескромное желание прокомментировать еще один пушкинский сюжет – речь идет о фамилии Ленский. Понимая всю дерзость и вероятную несостоятельность своих догадок, все же рискну, высокочтимый Учитель, предложить их на Ваш суд.

Насколько мне известно, исследователи, по аналогии с Онегой, Печорой, фамилию несчастного поэта связывают с сибирской рекой. В.Д. Набоков, как Вам известно, об этом замечает мимоходом, даже, на мой взгляд, несколько пренебрежительно, как нечто само собой разумеющееся, помещает это сообщение в скобки, правда, подавляя нас эрудицией, тут же сообщает о некотором существовании этой фамилии в допушкинские времена.

Мне же пришла в голову совсем другая версия. Ленский. Лена. Сын министра Д.В. Набокова мог слышать что-то о заварушке, но не будучи читателем краткого курса истории ВКП(б), словосочетания «Ленский расстрел» знать, скорее всего, не мог. Боюсь, что и Александр Сергеевич об это не догадывался.

Очевидно, что моя незрелая версия была бы отвергнута автором романа «Пнин», и он остановился на географическом происхождении. В мою же воспаленную бессонницей бедную голову пришла такая робкая догадка: а не была ли фамилия Ленский по аналогии с тем же сюжетом – Пнин, Бецкой – сокращенным



вариантом от какой-нибудь знатной фамилии, ну, например, Оболенский? И если позволить себе разыграть эту партию, то тогда возникают варианты некоторых иных толкований судьбы поэта.

Откуда Германия, Геттинген? Как эта мысль появилась у тех, чей «прах *патриархальный*» (подчеркнуто мною. – В. Г.) почтил он «надпись случайной»? И весь романтизм Ленского – некоторое чувство «отдельности», «некаквсешности» (вспомним, как мучился тайной происхождения не только Павел I, но и Делякруа, допытывавшийся тайны своего происхождения от Талейрана, о чем говорили в парижских салонах). Словом, какая-то загвоздка здесь есть. Я не предлагаю считать Ленского одержимым комплексом бастарда, но, возможно, осторожно упоминаемые семейные предания о происхождении фамилии, о какой-то давней неравной любви волновали его душу? С этой точки зрения, может быть, он и «пел разлуку и печаль, и нечто, и туману даль», и это у Пушкина не только цитирование Кюхельбекера, а некоторая подсказка читателю?

Боясь утомить Вас своими непрофессиональными рассуждениями, я все же решаюсь предложить Вам свои, очевидно, несостоятельные догадки. Могла бы написать: «Страшно перечесть... Стыдом и страхом замираю...». Но так как я не предполагаю в себе никаких пушкинистских амбиций, а мне просто весело играть с Александром Сергеевичем в бесконечную и увлекательную игру под названием «Евгений Онегин», я считаю возможным поделиться с Вами моими ни на что не претендующими ночными забавами.

С бесконечным почтением.
Валентина»

«Дорогой Олег!

Я настолько увлеклась игрой в «Е. О.», что, не дожидаясь Вашего ответа (или не рассчитывая на него), тороплюсь предложить Вам еще некоторые наблюдения или догадки в той последовательности, в какой они возникли у меня в эти дни и по-прежнему в бессонницу (последнее – точнее).

Говоря об еще одной фамилии в предыдущем письме, я имела в виду отца Татьяны. Почему Ларин? Да еще Дмитрий. Весь образ патриархального отца семейства, домоседа и все, что о нем известно, связано с домашним очагом, его покровителя-

ми. И хоть «латынь из моды вышла», но Александр Сергеевич блестяще знает античную мифологию и, на мой взгляд, не только связывает фамилию отца Татьяны с ларами, подкрепляет ее (фамилию) именем – Дмитрий (от Деметры). Таким образом, для образованного современника («разумному – достаточно») ономастическая характеристика становится сжатой формулой образа. Для менее понятливых, как будто в насмешку, следующая строфа начинается с «подсказки»: «Своим *пенатам* (подчеркнуто мною. – В. Г.) возвращенный Владимир Ленский...».

Так как я просто получаю огромное удовольствие от этих догадок, от этой игры, я, конечно же, не отказываю себе в необходимости обращаться к мнению высоких авторитетов. В.Д. Набоков опять же упоминает о почти анекдотических фигурах, однофамильцах «господнего раба и бригадира», а потом какое-то поспешное упоминание о ларах завершает этот комментарий, но эта версия происхождения Владимиру Дмитриевичу кажется то ли неинтересной, то ли неубедительной, что он не считает возможным или важным ее как-то развивать. Жаль!

Мне же, лишенной пушкинистской солидности и академизма, все время чудится, что Александр Сергеевич как-то нас разыгрывает, что-то нам предлагает, а мы, может быть, об этом даже не догадываемся.

И вот тут, мой дорогой Олег Иосифович, Вам как своему confidentу я решаюсь поведать самую крамольную, самую завиральную (уж не знаю, как Вы ее назовете) свою догадку, версию, словом, «нечто»...

Итак, своими «непушкинскими лапами» я рискую прикоснуться к самому сакральному, к священной корове пушкинистики – к фамилии главного героя. Задержите дыхание, дорогой Олег Иосифович, смеяться будете потом, но все же на Ваш суд предлагаю некоторые наблюдения и подозрения.

По-моему, начиная с «неистового Виссариона», который все измерял расстояния от Онеги до Печоры, все успокоились и приняли как должное: фамилия героя от гидронима. Юрий Михайлович Лотман, как известно, подробно на этом останавливается, а Набоков очень сухо констатирует (правда, своему западному читателю объясняя, где эта река Онега).

А Вам, Олег Иосифович, не казалось ли странным, почему это на берега Невы поселяет Пушкин своего героя «имени северной русской реки»? Что Александру Сергеевичу эта Онега? Он что, плавал в ней, может быть, мечтал ее увидеть, как «адриатические волны»? Или Онеге он писал: «прощай, свободная стихия»? Олег Иосифович, прошу Вас, ответьте: «Что он Онеге, что ему Онега?».

Но тем не менее Евгений – Онегин. Не Ладогин, не Невин, не Москварекин, наконец! И тут, отбросив смешливость и легкомыслие, я призадумалась. Стала перебирать пушкинские названия. «Моцарт и Сальери», «Борис Годунов». Реальные имена. «Граф Нулин» – выразительное вымышленное имя. «Дубровский» – еще красноречивее: «Я – Дубровский» – почти как «Я – Робин Гуд». В фамилиях смысл, но уже не такой простоватый, как Скалозуб, Правдин, Простаковы. А тут любимое детище наречь просто так – Евгений Онегин (далась нам эта Онега!). И тут, Олег Иосифович, в мою неискушенную и не отягощенную пушкинистскими забобонами голову вползло одно веселенькое подозрение: а не разыгрывает нас, не потешается ли над нами вот уже двести годков светлейший и остроумнейший Александр Сергеевич? Эпоха любила розыгрыши, шутки, «обманки». И бумага, которую хочется приподнять в знаменитых работах с птичками и вишенками Федора Толстого, и муравьевский «Въеварум», может быть, придуманный «Вобюлиманс», да и многое другое можно вспомнить.

В названии, в сердцевине обоих слов уже как будто бы заключена игра в перевертыш: ген – нег. Ну на это, наверное, все всегда обращали внимание. Но во время бессонницы, в темноте, обостряется по-своему восприятие. Я стала про себя твердить эти два слога, как будто бы почувствовав в них какую-то подсказку, я стала повторять те строфы, которые знаю наизусть, уже почти уверенная, что Пушкин где-то опять лукаво подмигнет и что-то подскажет. Ух, нашла! Я просто от счастья начала смеяться. (Сейчас Вы будете надо мной смеяться, но это же не для пушкинистики, а для меня радость!) «Но в чем он истинный был гений... была наука страсти *нежной*». «И чувств *изнеженных* отрада», память тут же подсказывает другое: «открой сомкнуты *негой* взоры». Любимые пушкинские слова, не правда ли? Многозначность – и любовь, и «дольче фар ниенте» (прошу прощения, у меня нет

латинского шрифта), но «фар ниенте» упоминает опять же Пушкин в романе.

Постепенно я добираюсь еще до одного «ключика». Эпиграф ко второй главе:

О rus! Гораций.

О Русь!

А если его продлить (понимаю – святотатство, но все же):

О нега!

В таком контексте название романа, фамилия героя приобретают не просто гидронимическое заимствование, а некий потаенный смысл, в котором характер героя, погруженного то в негу, то в науку страсти нежной.

Ваша Валя Голубовская»

«Дорогая Валя!

Не думаю, чтобы этот вопрос («фамильярный») мог бы быть решен определенно. Версия романтическая, симпатичная. Чтобы поверить сие алгеброй, недостает корректной статистики, но совершенно очевидно, что фамилия Оболенский типичнее. Сама по себе «выборка» пушкинских знакомцев убедительна: 4 Оболенских (м. п.) и 2 Ленских. Другой вопрос – этимология «короткой фамилии». И здесь не будет однозначного ответа: возможны оба варианта – и «сибирский», и – с обрезанием левой крайней плоти. Но тогда «географический случай» – много моложе традиционного – уже хотя бы потому, что Лена освоена и «укоренена» довольно поздно. Стало быть, Оболенские благороднее. Пушкин в этих делах был дока – и чрезвычайно дорожил своим «шестисотлетним дворянством». Тогда цитата о дистанции между Онегой и Леной все же огромного размера. Тогда можно понимать эту метафору так, что Онегин – благородный выродок, но Ленский – выродок тоже. Правда, с некоторой оговоркою. Интуиция подсказывает мне, что принципиально наблюдение очень меткое: старое и новое разбиваются друг о друга, а пользы отечеству нет. Эти по-римски разлагаются, те самоуничтожаются в грезях. Возможен и тот привкус «бастардизма», о котором говорено. И все-таки главное – пшик, перманентный российский пшик: вода разрушает камень, лед испаряется, предварительно затушив

пламень, не проза поэтизируется, а стихи прозаизируются и т. д. То есть в России плюс на минус дает не минус, а ноль, пустое место. Это то, что я бесконечно твержу себе: Россия – буферная зона, проводник, электролит, домна, а потребители – за ее пределами. Банальная схема: Онегин («Отцы и дети») – маскирующийся отец, как и Ленский – маскирующийся ребенок. Другой ее же вариант: Онегин – российский «европееман», Ленский – формальный «западник». И что же? На поверку оба оказываются стерильно русскими – вспльчивыми лентями.

Что до «геттингенской линии» – она, мне кажется, все-таки выстроена вполне реалистично-прагматически. Когда-то я глубоко копался в истории пушкинских эпиграмм на Стурдзу. Суть такова, что он опорочил Геттинген и вообще университеты в глазах своих политических заказчиков тогдашнего «Варшавского договора» европейских венценосцев (1818 г.). Студенты сделали большой скандал – посягали на их еще средневековые права. Стурдза скрывался от преследовавших его студентов-дуэлянтов, чухнул в Россию, где его поджидали убийственные уколы молодежи. Пушкин был закоперщиком, вероятно, подогреваемый целой когортой ближайших друзей-геттингенцев (все три Тургенева, Каверин, преп. Куницын и пр.). И – кроме всего прочего! – из-за этой эпиграммы он фактически и был удален на Юг. Так что текст о Ленском, писанный в Одессе, с Геттингеном дружен по праву (здесь же был и Стурдза).

Согласен с Н. в том, что поиск литературных прототипов – дело темное. Но, думается, Ленский получил что-нибудь от В.И. Оболенского – с которым Пушкин общался (сообщался), прозябая в Одессе, через Раича. На фоне обновленного знакомства со Стурдзой. Этот Оболенский по некоторым параметрам по фасону. Как знаток языков, как пишущий человек. Остальное – от... геттингенцев – Тургеневых.

Получается так, что догадка об «усеченной фамилии» работает сразу на несколько фронтов: 1) новая поросль; 2) слабая (урезанная) поросль; 3) поросль такая же бесполезная, *бесперспективная*, как и та, что *молодится*, пытаясь соответствовать.

Но главное – в том, что хотя немцу смерть от русского хорошего, только сам русский – что новый, что старый (в одном лице) – от своего хорошего застрелиться бы рад, да лень.

По-моему, суммарно у нас вышло что-то забавное и даже, как обычно, судьбоносное. Может быть, назвать «Ночные забавы» нашими «Совместными ночными забавами»? Забавами с Пушкиным (групповуха)?

С надеждой принять участие и многочисленными платоническими поцелуями повсеместно
Губарь О.»

«Дорогая Валя!

«Путешествие дилетантов» продолжается. Это очень вкусная игра, которая пришлась мне по душе еще до того, как привязался к Джойсу. Там, помните, громадный ономастический пирог. Елли Хвойн, Манон Лесок, Норма Дров, Мона Листик, Кора Березоу, Тебена О'Рехи и т. д. Мы играли в *это* с моей Машкой-школьницей, а потом с Викторией-студенткой. Конденсировались презабавные образы: Света Фор (или Сима Фор), Кира Газ, Тома Гавк и прочие «синеглазки». В рукописи, которой теперь занимаюсь, есть некая Коняня Скаку и Косая Сажень. Знаю народные образы ярче: Циля Немнихер, Сара Накойхер, Рудик Херсним и пр.

Размышляя о Ваших ларах, все время натыкался на Карла, стибрившего у Клары кораллы. Дремучий аркадийский мотив (лары, Деметра и пр.) окатывает острую, пряную, жгучую мелодийку шутовской пляски. Не сверяясь с Набоковым, я тотчас вспомнил Иллариона Ларина (какая пронзительная тавтология!) – того веселого проходимца, о котором рассказал Липранди. В сочетании с эпиграфией и шекспировским Йориком – это убедительно даже не на уровне фактажа, но на эмоциональном. *Я почувствовал*, а уж потом обдумал, заглянул в справочник, мемуары и пр. Был еще другой отставной военный – помещик *Ларий*. Оба прототипа общались с Пушкиным в начале 1820-х, непосредственно перед Одессой, где и писана 2-я глава. Обдумывая всю ситуацию, я поймал себя на ощущении, что вижу деревенскую идиллию из окошка дома в Михайловском. На самом же деле «Деревня» медитировалась в Одессе. И в этом было больше игры (близкой к нашей), чем может показаться.

Версия шута-военного мне представляется достоверной еще и по другой причине. Пушкин военным не был, но среди офицеров прожил несколько лет (1820-1823). Все его поступки

свидетельствуют о том, что странное светское амплуа его как-то тяготило. Он постоянно самоутверждался, не раз убеждая приятелей, что не уступает им ни в чем (выпивка, барышни, дуэли, сумасбродство), а то и превосходит. По-видимому, шутовской шарж на офицера входил в его расчеты. Во всяком случае, он не раз выставлял дураками тупиц-слугак.

Перейдем теперь ко второму блюду. Мистическим, как любит выражаться Феликс, образом наши письма предварили друг друга. Я уже определил свое отношение к фамилии героя: Онега – гидроним со стажем, Лена – нувориш. Отсюда – все частности. В том числе – та, о которой Вы толкуете. Разумеется, старая Онега плавна, ленива, да, она нежится. Лена – вспыльчива, стремительна, бурлива, молода, она – «как закипевшего Аи» и т. п. Но в обоих, как бы поточнее выразиться... *очень много воды*. Бесплодности, тщетности. Если привязывать текст к скорости течения, получается, что вторая глава – в самом деле Онега, хотя там и появляются истоки Лены. И в этом смысле Вы совершенно правы.

«Е. О.» – не просто зарифмованный роман, но зарифмованный символистский роман, символика которого как раз в ономастике. Вероятно даже, что такое исследование существует. Убежден, однако, что наше «Путешествие» живее и приятней.

К слову. Вдруг вспомнил одну свою приятельницу, Ирину, – большую, рыхлую и очень умную бабу. В ее объятиях – словно бы в пирине-пространстве. На заре она колыхалась и выдыхала: «Нега-а». Хотя надо бы написать перина. Такая вот ассоциация.

А вообще *Онегин* – это изрядное нахальство. Рифмы-то нет!

Обнимаю пристрастно
Весь Ваш Губарь О!»

«Дорогой Олег!

Мне показалось, что «онегинская» игра Вас несколько утомила. Поэтому появилось желание выйти за ее пределы в упоминании о Джойсе, в обыгрывании бесконечно милого многим поколениям краткого русского слова. (Признаюсь, правда, что Ваш юмор по этой части мог быть по достоинству оценен в гусарской среде, может быть, он был бы благосклонно принят кавалерист-девицей, а я, к счастью, ни то, ни другое.)

Но если Вам угодно вернуться к нашим «мутонам», то вот на Ваш суд некоторые наблюдения и рассуждения. Из области читательских эмоций, а не исследовательских резонансов. (Я тут случайно на каком-то из каналов увидела хвост английского «Евгения Онегина», о котором недавно шумела российская пресса, и в очередной раз подумала о незащищенности классика, правда, англичане, по-моему, вполне уверены, что с пиететом отнеслись к «энциклопедии русской жизни».)

Я вдруг проявляю смешное упрямство и никак не соглашусь, что «рифмы-то нет!» (Олег Губарь). Есть, Олег Иосифович, есть! Она просто «закодирована», это внутренняя рифма. Я уже робко попыталась Вам об этом сказать, но Вы не поддержали мою догадку. Я еще раз пытаюсь Вас убедить, что мне и только мне сейчас интересно *так* перечитывать «Онегина», хоть все окружающие эти мои неловкие размышления могут считать ахинеей. И коль мы затеяли эту игру, которая, *естественно*, может *естественно* прекратиться с утратой интереса к ней, я продолжаю.

Кстати, Вы сами говорите о символизме и зашифрованности романа. Знаток пушкинской среды, имен, реалий, Вы оперируете историческими фактами и в этом преуспеваете. Я же намеренно (да строго говоря, и не желая – ведь не исследованием же я занимаюсь), просто на свой лад читаю Пушкина.

И опять, кстати, признаюсь, что один «мячик» подбросили мне Вы своей давней публикацией о «сыне египетской земли» – до Вашей публикации имя Морали читалось мною как итальянское, во всяком случае, латинский привкус в нем был. Теперь, просвещенная Вами, я думаю, а не было ли в этом столкновении итальянизированного написания имени мавра Али с его аттестацией «корсара в отставке» (с соответствующими «моральными» устоями) намеренной пушкинской шутки, вожделения за нос простодушного читателя?

Но возвращаюсь к внутренней рифме. Я не случайно предложила Вам продлить, как говорится, на свой страх и риск эпиграф ко второй главе:

О нега!

И горадиева «деревня», и пушкинская «Русь» (не петербургская Россия) – ясный, прозрачный зачин второй «патриархальной»,

деревенской главы. При чем здесь «нега»? Признаюсь, это слово в пушкинском словаре меня не отпускает от себя. Что оно для Пушкина? Возможно, я ломлюсь в открытую дверь, и об этом уже написаны пушкинистами многие страницы, но я ведь делюсь с Вами своими собственными корявыми измышлениями. Так вот, оставляя в стороне все производные в виде «грусти нежной», «науки страсти нежной» (как усиливается жизненный опыт и эмоциональный, чувственный накал!), «чувств нежных» (пресыщение этим опытом!) и т. д. – обратиться к самой неге – слову, обладающему у Пушкина символическим сокровенным смыслом. Уже в первой главе все сказано: смысл и стимул пушкинской жизни – свобода: «Я негой наслажусь на воле», «и far niente мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы». Но нега – это не просто безделье, не унылая праздность. Человек, обремененный зависимостью служебной, военной или чиновничьей, либо другой несвободой, не пребывает в состоянии неги, ее внутренней свободы, воли, творческого или любовного пафоса.

Итак, любовь и свобода аккумулируются в одном слове. Не стану, дорогой Олег, утомлять Вас цитатами, хоть, на мой взгляд, небезынтересно, как это слово угасает постепенно в романе, исчезает в последних главах, чтобы ослепительно вспыхнуть в одесском сюжете – россиниевском: «он звуки льет, они кипят все в неге, в пламени любви»...

И уж поистине трагическим упоминанием завершается «Пора, мой друг, пора» – «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». 1834 год. Прощание с негой – больше в стихах Пушкина этого слова нет (во всяком случае, в канонических сводах лирики). Признаюсь, я даже как-то иначе, как-то пронзительнее услышала лермонтовское: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной...».

Вот, дорогой Олег Иосифович, что, какую рифму услышала я в любимом Вами гидрониме.

И какой-то грустной показалась мне наша игра в «Евгения Онегина» – во всяком случае, расхристанность и очевидная неубедительность моих соображений, скорее каких-то интуитивных «вчувствований», но в любом случае я Вам благодарна за то, что вы затеяли эту игру, а я еще и еще раз перечитала свой любимый роман.

Ваша Валентина Голубовская.

Р. С. Нет нужды объяснять, что именно с сельской свободой рифмуется больше всего нега.

О нега!»

«Дорогая Валя!

Я всегда думал (ошибался, должно быть), что между сальностью и шуткой, амикошонством и открытостью (распахнутостью) есть некоторая разница. Хочешь быть открытым – обязательно получишь по морде. Вы не кавалерист-девица: «к счастью» или несчастью – Вам решать. Но Пушкин, в которого мы играем (без правил), гусаром был, а язык наш любил «во всей его первозданной похабности». И я (грешным делом) считал, что сальность – это, прежде всего, глупость. То же, что вызывает живую улыбку, искренний смешок – не сальность и не «шутка юмора» для «ограниченного контингента». Так мне кажется, но не смею навязывать это свое мнение.

Если я Вас правильно понял, «Онегин – О нега» – рифма «закодированная», а не формальная. То есть Вы чувствуете, что пушкинская *нега* полисемична, что за ней – вполне определенный семантический ряд, лаконично формулирующийся как «любовь и свобода, аккумулирующиеся в одном слове». Вероятно, я не понял Вас раньше – моя вина, – а то бы проаплодировал оглушительно. Эта мысль мне очень близка. «Рискуя навлечь себе новые неприятности», скажу, что размышлял о том же в связи с любимым словечком моей любезной подруженьки. Пытался тогда вникнуть в его тайный смысл. И ход этих размышлений протекал тем же руслом – в соответствии с Вашей логикой.

Нега – какое вкусное слово! Пушистое, мохнатое, обволакивающее! В нем есть что-то от материнской утробы: блаженство, абсолютная безопасность. Скольжение по поверхности (воды?), бархат бережного касания.

Не хочется приземлять его алгеброй, но я нырял глубоко, доискивался – потому что тогда для меня это было важно: я искал секрет этой женщины-*неги*. Не стоило этого делать, но любопытство пересилило.

Оказалось, что само по себе слово – загадка. Откуда оно? Куда? Кого-то это давно интересовало, и накопилось сколько-то

мнений. Самое очевидное – разглядывание «в пакете» с *нежностью*. Это корректно по сути. Виньетка нежности обрамляет негу.

Неженка, нежиться, неговать: старательно заботиться, нежить себя, нежить друг друга, баловать, лелеять. Нежный – тонко чувствующий, мягкий, рыхлый (помните, что я писал о своей подруге?), чувствительный, восприимчивый, крайне чуткий, разборчивый и еще... *жидкий* (!). Запомним это.

Семантическое разнообразие почти уникальное. *Нега* – наслаждение, упоение, забытье, довольство, баловство, холя. Еще – «полное довольствие», «ласка», «состояние, близкое к блаженству». Еще – «улада», «чувственные подробности улады».

У ближе всех стоящего к пушкинской лексике Даля – сущностное: упоенье, *сладостное успокоенье духовное, нравственное*; покойное наслаждение, *мечтательное забытье*.

Что видим мы? Из двух компонентов – покой и воля (свобода) – выбирается как раз *первый*. Если перефразировать на новый лад, получается *нирвана*. Но тогда выходит по-нашему: и покой, и воля одновременно. Воля – это также внутренняя сила, мобилизация к ощущению свободы. Получается некоторое противоречие: нега немислима в сочетании с силовым напряжением. Потому-то мечтается о ней как о нирване – идеальном, недостижимом состоянии духа.

О нега – без восклицания, но с сожалением, в безысходности. Таков в общих чертах ход наших мыслей. Так?

Теперь кое-какие гипотетические вкрапления – по поводу тайного смысла.

Выше: «нежный-жидкий». При всей неясности этимологии различается отчетливое водное начало: не просто «чувствовать расположение», но «лнуть», «липнуть». Некоторые исследователи пронырнули еще дальше, довольно убедительно обосновав родственные связи *неги* и *снега*. Сопоставляют с древнеиндийским «делаться мокрым, липнуть», что-то близкое к растительному маслу и др. Речь идет о чем-то жидковато-липком, возможно, о мокром снеге. Еще древнеирландское «каплет, дождит», «изморось». Тут совсем близко к Онеге: климатически и топографически. Так «героическое имя» озвучивается новыми тайными смыслами.

Если суммировать все наговоренное нами – выходит, по моему, не так уж плохо. Так что игра, кажется, не окончена. Что

до Морали, он сюда как-то не подверстывается: не хочется пока мутить чистую воду Онеги и О неги.

Искренне Ваш
Губарь О!»

«Дорогой Олег!

Как ни смешно, я возвращаюсь к «дремучему аркадийскому мотиву». Понимаю, что это все напоминает доморощенное «открытие Америки» и что в профессиональной среде многие мои «прозрения» воспринимаются как банальности, такой себе пушкинистский моветон, тем не менее беру на себя смелость продолжать, вернее, делиться с вами своими докучливыми соображениями.

Так вот, вернемся к ларам. Неожиданно для себя я вдруг поняла, что здесь закручивается любопытный узел. У Пушкина есть образы, понятия, символы и т. д., которым он верен, которые он «обкатывает», пробует на язык, на слух – та же нега, грусти нежной, наконец, упоминания Италии златой. Последнее не менее важно, чем первые и многие здесь не упомянутые пушкинские любимцы. Так вот. Мои размышления об Италии златой (не стану их сейчас развивать) вернули меня к ларам. Пушкинское кочевье, бездомность, положение в родительской семье лишают образ латинских домовых хрестоматийной мифологической риторики, и, как ни покажется это смешным, сближают в своей сокровенности с уже препарированной негой. И начинается это уже в лицейские годы: «Завистливой судьбы в душе презрев удары, в деревню (!) перенесем отеческие лары!». «О вы, отеческие лары, спасите юношу в боях!»; «Пою под чуждым небом. Вдали домашних лар...». Наконец. «Тебя молю, мой добрый домовый, храни селенье» и т. д.

Пять-семь лет отделяют эти строчки от второй главы, начинающейся со знаменитого эпиграфа. Горациева деревня, деревенская Русь – за ними или из-за их плеча выглядывают то ли лары, то ли домовый. И может, столкнувшись с омонимным звучанием фамилий своих южных знакомцев, Пушкин и обыграл этот сюжет? Может, я ошибаюсь, но Александр Сергеевич избегал лобовых приемов – отказывается же он в эпиграмме «Хоть, впрочем, он поэт изрядный, Эмилий человек пустой» от однозначного, лежащего на поверхности Людмила? (Так, во всяком случае, в примечании Т. Цявловской.)

А теперь, может быть, главное. Вы, дорогой Олег Иосифович, полагаете, что Пушкина интересовал «смиранный грешник Дмитрий Ларин», и он решил этого бригадира ущучить фамилией липрандиевского «веселого проходимца»? «Господен раб» понадобился Пушкину только для того, чтобы дать имя, то есть фамилию, родовой корень своей героине. Наверное, не случайно не озвучена фамилия супруга – князя N. А как содрогнулся бы бедный Александр Сергеевич от чудовищного оперного варианта? Татьяна Гремина. Ничего, правда?

Нет, все-таки, на мой взгляд, между юношескими помыслами о ларах и Татьяной, которая, подобно Пушкину, «в семье своей родной казалась девочкой чужой», для которой и «бедное жилище», и «смирненное кладбище», впрочем, что перечислять, все широко известно, связи гораздо больше, чем между нею и всеми военными знакомцами Пушкина.

А теперь еще о «библейской, первозданной похабности» языка. Александр Сергеевич, не спорю, любил примерять к себе доломан, ментик, кивер. Но и любил слово «комильфо». Одно дело «гений чистой красоты», другое дело мужские эпистолы А. Вульфю по поводу «мимолетного виденья».

Мне же больше нравится элегантно, острое и безукоризненное остроумие Пушкина в других образцах, ну хоть в этом:

Христос воскрес, моя Ревекка!
Сегодня следуя душой
Закону бога-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я, не робея,
Готов, еврейка, приступить –
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.

Засим остаюсь
Ваша Валентина Голубовская»

«Дорогая Валя!

Я все думаю о пушкинской символике. Бог с ним, с Лариным. Берите выше. *Лары* – символ того же порядка, что и *нега*. Давайте-ка еще покрутимся вокруг домашнего очага (потанцуем от печки, посидим у камина). Разумеется, тут видится грандиозное обобщение. Боря Херсонский непременно перетолковал бы ситуацию по Фрейдю: что-нибудь вроде покоя и неги зародыша и т. п. Но, так или иначе, а все мечтают нежиться на косматой шкуре у камина в доме с домовятами. И чтобы при этом время остановилось, закуклилось. Дальше – оттенки этого благостного ощущения ласкающего безвременья. «Неговающие лары» – может быть, так, хотя звучит немusыкально? Может, «одомашненная нега»? Нега как ощущение материнской утробы-родины («дремучий аркадийский мотив»)?

Что в итоге? В итоге – мотивация волшебного замка творчества как виртуального (пошлое, но точное слово) пространства «чистых нег». Вероятно, два-три знакомых слова в самом деле ключ куда более универсальный, чем это может показаться, и с чем я Вас и поздравляю!

Что до «комильфо» (уела-таки!), то я, честно говоря, не в восторге от помянутого Вами «разнополого» двуличия. Меньше всего хочется быть хамелеоном, гаденько принаравливаясь к ситуации. А если называть вещи по именам – облапошивать и «любимую», и «друга». Предпочитаю – в подобном контексте – не быть комильфо, но – самим собой. Другое дело, что не следует навязывать откровенность, о которой не просили. Впредь буду осмотрительнее.

Да, Вы знаете, а я вспомнил, что и сам нагрешил *негой*. В 9-м классе. У меня тогда были проблемы с таблицей Менделеева, и я написал виршик о закисях, окисях и химичке. Забавно, что десятиклассники положили мои стишки на музыку и прокукарекали на каком-то школьном вечере. Химичка была в восторге, хотя и грозила мне пальчиком. Там была строчка: «Мне бы отдохнуть сейчас, предаться неге...». Теперь думаю вот о чем: ведь это я невольно озвучивал Пушкина! Спал я на раскладушке в проходной комнате (мы всей семьей возлежали вокруг стола), с этой раскладушки ушел в армию и на эту же Р. вернулся со службы. Вероятно, покой мне только снился – как Ал-ру Сергеичу?..

Искренне Ваш
Губарь»

«Дорогая Валя!

Поскольку настроение паскудное, решил под занавес развлечь Вас и себя еще кое-какими размышлениями о неголарах и ларонгах. Пишу слитно не для оригинальничанья: слова эти буквально перетекают друг в друга – как сообщающиеся сосуды, получается любопытный купаж, каковой мы с Вами и распробовали.

Слова эти сливаются в том устье, где «гостеприимный кров, В сени домашних где богов...» и т. д. (Батюшков), где супружеские, плотские и проч. отношения становятся *родственными*. Где жизни мышья беготня уходит из реальности, где покой *разлит* по «Сельскому кладбищу», где он владычествует. Где по-язычески *сливаешься* с «разнеженной природой» (Фет). Постоянное акцентирование: твердая фаза жизни суетной, алчущей, переходит в жидкую – растворяется в пейзаже:

«...И пташки тепля гнезды,
Что свиты над окном,
Щебеча покидают
И негу отрясают
Со крылышек своих».

Нега – анабиозная жидкость, облекающая и растворяющая. Это – сон в растворенном состоянии:

«...Открой *сомкнуты негой взоры*
Навстречу северной Авроры».

Нега – сама дремлющая природа (роща, пажити, ветви, цветы и листья, вершины и облака), природа, всегда увлажненная, отражающаяся и тихо плещущаяся в каком-нибудь старом пруду, окунающаяся в безвременье. Поэты вечно глядят в это зеркало вод и различают ревнивым умом антропоморфные деревья, цветики, птичек, звезды.

«Как незаметно потухают
Лучи – и гаснут под конец!
С какою *негой* в них *купают*
Деревья пышный свой венец».

(Фет)

«Юга созвездье! Сердца зенит!
Сердце, любяся вами,
Южною *негой*, южными *снами*,
Бьется, томится, кипит».

(Вяземский)

А что же Александр Сергеевич? Он, кажется, на полдороги,
«Зимней дороги»:

«Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина...»

Нега-забвенье, нега-диффузия, нега – анабиозный сон, нега –
растворение в пейзаже:

«Где *пьется* дней моих невидимый поток
На ложе *счастья и забвенья*».

(«Деревня»)

Дальше – больше: «Пора, мой друг...».

На поверхности – как бы стремление к самоуничтожению,
провоцирование ситуации. На деле, мне кажется, не все так мрачно.
Просто невозможно погрузиться в Лету на всем протяжении
временного потока, но есть неосознанное желание присутствовать
во всех его профилях одновременно. «Тятя, тятя, наши
сети...» – есть желание отодвинуть надмогильную ларинскую
плиту, погрозить голой фалангой – чего мол, детки вы тут
расшались?! Нега – не есть физическая смерть, а есть прикосновение
к Вечности. Это липкий снежок, летящий с небосклона,
из какого-нибудь межзвездного пространства. Это липкая же
река, с водою сверхпресной, густой, клейкой, несущей, но не
позволяющей обгонять течение. Нежелание нежиться, просто
вдумчиво плыть по течению (не барахтаясь и не трепыхаясь,
подчиняясь однонаправленности и неумолимости течения), нежно,
жалостливо оглядывая уходящие берега – травка, коровки,
соломенные шляпки, пастушки-дурнушки и проч. – лишает покоя и воли
не подчиниться даже, но органично вписаться в неизбежное.

Побарахтаемся, что ли? Побарахтались, утонули. Мудрец же нежится, растворяется, впечатывается, диффундирует, оставаясь в неистолкованной субстанции на вечные времена. Вот почему всегда проповедуется смирение.

Я вовсе не пытаюсь вещать (хоть имя как бы обязывает). Вы правы, если хорошенько вдуматься, прислушаться, приняться, то и выходит, что в Онегине и «Онегине» гораздо больше от символистского романа, чем это может показаться. Во всяком случае, налицо все атрибуты, включая Пространство и Время.

Обнимаю Вас и *негую*. Благодарю за соучастие.
Вот наш Онегин на свободе. Плывет. Куда ж нам плыть?!
Весь Ваш Губарь»

«Дорогой Олег!

Пауза в нашей переписке затянулась, но причины ее нам обоим понятны и, очевидно, они в чем-то схожи. Тем не менее должны признаться, что диалог (монолог?) продолжается все это время.

Как-то Евгений Михайлович, который и благожелательно, и иронически относится к нашему «Путешествию дилетантов», заметил: «Если уж Онегин связан с негой, то почему бы не предположить связь Ленского и лени?». Параллель настолько прозрачна и откровенна, что я от нее отмахнулась вначале, а потом подумала: а почему бы и нет? Действительно есть внутренне смысловое созвучие между негой и поэтической ленью, леностью, свойственной тому, кто «забавлял мечтою сладкой сомненья сердца своего». Прошло несколько дней, я все пытаюсь охватить, постичь это необозримое пространство пушкинского подтекста, в насмешку брошенного намека, как вдруг материализуются «странные сближения». Е. М. приносит 12-й номер «Звезды» с опубликованной стихотворной перепиской Н. Гумилева и Л. Рейснер и читает мне из нее одну эпистолу Рейснер Гумилеву:

От лицейских наставников Пушкин,
От Monsieur и уроков Онегин
Уходили, как зверь из ловушки,
Для поэзии, лени и неги.

Так что, дорогой Олег Иосифович, были и есть пушкинские читатели, которым в онегинских строфах слышится близкий нам с Вами звук и смысл.

Уже давно меня смущает строка, подогревающая наш одесский патриотизм, – «Там все Европой дышит, веет...». Что же такое «европейское» поразило Александра Сергеевича в Одессе пыльной, в Одессе грязной? Ресторация Отона? Но и у Talon в СПб. не тюрю подавали, как известно. Театр? Опять же – за плечами были петербургские искушения. А уж воспитанному среди царскосельских чертогов и садов, в среде петербургского ампира вряд ли одесские «новостройки» (хоть были уже здесь и осуществленные тома-де-томоновские замыслы) могли вскружить голову. Естественно, не мною замечена впервые эта оппозиция – ссылка и свободная стихия (лучше всего, пожалуй, у И. Бродского «Памятник Пушкину в Одессе»).

Какой-то почти опереточный «бурный Зевес», устраивающий комическое на пять-шесть недель «наводнение». Но, кажется, здесь возникает первое предчувствие, драматическое. Конечно, звонкая мостовая – определенный цивилизованный уровень, но как-то жалко этот «спасенный город», который покроется «кованой броней», и, увы, надолго.

Любопытно, как эта одесская безалаберность стихии будет потом противопоставлена трагическим образам «Медного всадника». Кстати, сколько угрожающих «р» перекачивается в «Петра творенье», в «державном теченье», а глаз упирается в «береговой гранит», в «оград узор чугунный»...

Почему при добром Инзове – «Проклятый город Кишинев», а при известных отношениях с Воронцовым – «благословенные края»? Конечно, «берега эвксинских вод» не знали континентальной ксенофобии, здесь пребываешь в состоянии *неги*, как «мусульманин в своем раю» (Гейне где-то писал, что предпочел бы мусульманский рай с его вином и гуриями), а с чем, как не ленью томительной, длящейся, ассоциируется состояние блаженства и неги?

Пожалуй, на сегодня достаточно. Что-то не хватает неги и лени. Может, как-нибудь в другой раз получится более ясное и толковое «речение»!

Засим остаюсь Ваша Валентина Голубовская»

«Дорогая Валя!

Логика Голубовского безупречна: разумеется, Онегин – нега, Ленский – лень. Мы все можем себе позволить: наши правила – наши права.

Если пойти еще дальше, то и выходит, что «поэт» Ленский – «медитатор» и лентяй, что душа геттингенская – всего-навсего маскарадный наряд, самоодурачиванье, фальшивка, что он глуп, фатоват, банален. Что туда ему и дорога. Нега – не лень, правильно. Нежится мудрец, сибарит, а дурак просто лодырничает. Тогда противовес волны и камня и проч. обретает совершенно иное звучание. Под лежащий камень вода не течет, вот как. Онегин способен к протеканию, к эволюции, Ленский – даже не льдина (на самом деле лед и пламень меняются местами), а нечто аморфное, импотентное. В самом грубом приближении он отмирающая ветвь. Онегин, вероятно, тоже, но (совсем другая песня) этот может процветать, а уж потом понемногу вырождаться.

Что до одесского европеизма пушкинских времен – эта тема меня настолько утомила, что и не передать. 20 лет складывал портрет легендарного приморского городка. Понимал, что много воды утекло с тех пор «по воле бурного Зевеса». А потому поступил очень просто: собрал и препарировал все известные и прежде неизвестные тексты, разделив их на две части – «изнутри» и «извне». В результате явился энциклопедический (интегральный) образ, отдельные характерные черты которого *совпадали во всех описаниях*. Далее сопоставил эту картинку с «художественным обобщением» Пушкина. Что получилось? Получилось нечто невероятное: художественный текст оказался универсально информативным, не просто контрастным, но и достоверным. Учтены *все* «необичные» черточки той Одессы, отмеченные в исторических анналах. Невероятно, но это так. То есть я хочу сказать, что пушкинские строки – исторический первоисточник, отвечающий всем требованиям источниковедения. Помнится, меня это так поразило, что выступил с докладом (он опубликован в сборнике) на Пушкинской конференции. Исследование было признано вполне корректным и вошло в научный оборот.

Дело здесь вовсе не в яканье и похвальбе, а в том, что первоизданный *литературный облик* юной Одессы соответствовал ее *реальному облику*. Только и всего. Другое дело, что пока «волна»

доходит до потребителя, изменяется сам источник «волногонения». Покуда бабелевская Одесса вошла в обиход, умерли первообразцы. Пока баснословный портофранковский городок трансформировался в миф, вода утекала вместе с негой и ленью. (Если не ошибаюсь, в новой книжке написал что-то такое: пока доходит свет этой далекой одесской звезды, светило гаснет; приезжают пижоны – в поисках звездной энергии – и сетуют: нас обдурили!) Так вот, европеизм, а точнее *ретро*европеизм, отмечен как главная, определяющая черточка Одессы 1810-1830-х (да и позднее) годов. Многие вояжеры прямо говорят, что она мало чем отличается от портопунктов Средиземноморья, Леванта – Италии, Греции, Анатолии и т. д., и т. п. Называются конкретные двойники: Пирей и Салоники, Смирна, Триест, Трапезунд и др., и пр. Европеизм – не в двух-трех запроектированных Томоном незавершенках. Визуально – типологически средиземноморский порт, даже без характерного (с точки зрения европейца) лица: целые греческие, турецкие, итальянские, албанские, в целом югославянские кварталы, перистили всех трех рыночных площадей, никаких «вседержавных доминант», порт, карантин, казино, кофейни, винные погребки и пр. – все скроено по европейскому фасону. Реально, фактически официальное, русско-итальянское двуязычие (во всех учебных заведениях, в тезаурусах коммерции, судоходства – а это основное; вплоть до двуязычных указателей улиц, не говоря уж о винарках; музыкальная культура – струнная и отчасти вокальная школа трепыхаются до сих пор). Европа первой четверти XIX ст. – не Париж, а Медитеррания, морские коммуникации, античная культура побережья. «Маленький Париж» – это потом, десятилетия спустя. А тогда – Италия. Да, да, все заикливаются. Аркадийский пейзаж – «благословенные края», никак не иначе. Южная нега, вплоть до лени: и Онегину, и Ленскому комфортно. Здесь они и были зачаты в любви, а потому и вышли удачно. Никогда не было Ал-ру Сергеичу так сладко-беспечно, как в Одессе.

А дальше... Дальше – меньше, а не больше. Как Вы точно изволили заметить. Все меньше неги. Вспыхнула напоследок в «Пора, мой друг...» и угасла. Абсолютно убежден в том, что нам с Вами подобное пока еще не грозит.

Весь Ваш Губарь»

«Дорогой Олег!

Мне хочется крикнуть «браво!» по поводу Вашего последнего письма. Мне понравился, доставил удовольствие его тон, вернее, уже почти не скрываемое раздражение по поводу моих соображений об «одесском европеизме». Наконец-то в нашей переписке появляется эмоциональная окраска.

Вначале тон был учтиво-назидательный – это об образовании нашего вертопраха, нашего петиметра. Потом – несколько, я бы сказала, высокомерный, когда столкнулись Ваши гидронимные доводы и мой бедный лепет. Вы снисходительно отмахнулись от моих бедных лар, в пресность нашей переписки попытались внести ернический тон, а я на него ответила, как могла. И вот «наконец я слышу речь не мальчика, но мужа!» – утомленный вышеобозначенной темой, Вы, дорогой Олег Иосифович, тем не менее снисходите вновь до подробного комментария. (Я только хочу признаться, что я Ваша давняя читательница и поклонница Ваших литературно-исторических опытов.)

Почему же меня в восторг привело это письмо?! Во-первых, мне удалось Вас по-настоящему разозлить (хоть Вы сумели это облечь в достаточно сдержанную форму). Но суть не в этом. Мне кажется, что здесь уже ясно обозначилась разница наших «весовых» категорий. Я уже как-то вскользь об этом Вам писала, риску еще раз вернуться к этому предмету.

Один из моих любимых литературных жанров – комментарии. И книги часто начинаю читать с них, прежде чем приняться за столбовой текст.

И абсолютно искренне признаюсь в глубоком интересе к Вашим историческим экскурсам. Я же (опять же неоднократно это подчеркивала), полагаюсь только на интуитивное прочтение нашего любимого романа. И все же, все же...

Не стану сейчас ссылаться на историю развития европейских городов (вот это было бы долго и утомительно) и на свой скромный опыт знакомства непосредственного с ними, могу согласиться, что этот европеизм пребывал в эмбриональном состоянии, в чем-то планировка Одессы в своей ясности и четкости могла восходить к римским каструмам, не вижу повода оспаривать все Ваши убедительные доводы и перечисления доказательств. Речь о другом.

Я все думаю, что «Е. О.» – роман, столь сложный, многослойный, при его гениальной прозрачности, что, по моему (не знаю, скромному или дерзкому) предположению, при современном прочтении, или, говоря Вашими словами, при «опрокинутом зрении», может считаться предтечей современных структуралистских опытов. Но это такая неподъемная тема для дилетантских размышлений, что лучше мне об этом не говорить.

Два единственных европейских города (западные «колонии» империи в счет не берем) – Петербург и Одесса. В столице – весь европейский и не только арсенал: от архитекторов, скульпторов, создавших царственный облик Северной Пальмиры, до бытовой фактуры – и то, что шлет «Лондон щепетильный» и Париж, «янтарь на трубках из Царьграда», и немецкий «васисдас», и т. д. Я это все к тому, что Питер не был, как известно, кондовым «расейским» городом.

Чего же не хватает Пушкину в столице и что он находит в Одессе? О многом уже сказано – даже стыдно повторяться. И все же рискну высказать свое предположение. Петербург в контексте всей европейской истории (как бы это сказать, чтобы не обидеть горячо любимый и почти родной мне город?) – самозванец, без корней, без прошлого, без «гения места». Почти через сто лет появляется наша героиня, и хоть ей не тягаться в своем облике младенческом, формирующемся со сложившимся северным соперником, у нее исторические преимущества. Да, медитерранская принадлежность, да, язык Италии златой. И вот эта неоднократно упоминаемая (не только в «Е. О.») Италия златая не дает мне покоя. Как известно, Италия пушкинских времен – одна из самых захолустных стран Европы. Вспоминаю, как пару лет назад, перечитывая том за томом Гоголя, я наткнулась на восхитивший меня эпизод в гоголевском «Риме». Герой покидает Италию, позади него остается Симплонский тоннель, и он патетически восклицает: «Наконец-то я в Европе!».

Конечно, уже в Бессарабии, в «проклятом городе Кишиневе» являлась Пушкину тень Овидия, но только «на эвксинских берегах», к которым льнет «степь нагая», в этом первозданном образе бытия природы («дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет») ему открывается и «наука Эллады», о которой

через сто лет напишет другой поэт, и в звучании итальянской речи на «улице веселой» ему слышится «язык Петрарки и любви», язык охотно читавшего в Лицее Апулея, и, конечно же, язык «науки страсти нежной»... И можно только догадываться, какие образы, какие сравнения своей судьбы с изгнаннической судьбой не только Овидия, но и Петрарки возникали в этих благословенных краях. Этот одесский гений места, может, и давал повод к экзистенциальным размышлениям о Золотом веке Италии златой, о потерянном, но здесь, в Одессе, на какое-то время возвращенном Рае...

Словом, завершая сумбурные заметки, хочу сказать (так, во всяком случае, слышу я), что этот «европейский» подтекст гораздо тоньше, глубже, чем «русская душой» Татьяна Дмитриевна *Ларина* вписывается в этот контекст «священных камней Европы».

На этом остановлюсь, чтобы не дать Вам, дорогой Олег Иосифович, воскликнуть: «Остапа понесло!».

С благодарностью за терпеливую поддержку моих писаний
Ваша В. Голубовская»

«Дорогая Валя!

Очень рад, что доставил Вам удовольствие: я вообще очень эмоциональный (впечатлительный) тип, поэтому мне это ничего не стоило. Вот кокетничать, честно говоря, утомительнее, а говорить, что думаешь, проще простого. Так что и не благодарите меня: не за что.

О внешнем облике «одесского европеизма» как будто уже все сказано, но имеется и некое неочевидное внутреннее содержание. Первое. Вся цивилизованная Европа устремилась в Дикое Поле тотчас после присоединения его к России. Отныне здесь пребывало Великое Искомое – законсервированная античность. Ничего не надо было даже откапывать: руины храма Ахилла на Змеином дожили до приезда Пушкина в Кишинев, Ольвия еще не была разобрана крестьянами Мусиных-Пушкиных, Пушкин посетил Пантикапей и т. д., и т. п. Любой вояжер априори знал об этой «российской античности», намеревался к ней прикоснуться телом и душой. Микроренессанс, описанный десятками авторитетных свидетелей, включая того же Муравьева-Апостола

и др. Пушкин заранее ожидал встречи с «Митридатовым гробом» и пр. Нечего говорить об одесском Бларамберге и пр. Но есть и другой аспект, самый простой. Одесса строилась «под задачу», на редкость прагматично, строилась конкретными людьми *для себя*, для эксклюзивного комфорта, для воссоздания привычной среды обитания. Потому-то и получился довольно-таки безликий (с точки зрения, скажем, средиземноморского шкипера) левантский порт. Но в том-то и штука, что этот «инородец» был прихватизирован стоеросовой Империей. При чем тут Петербург? Да, судьбы окраинных вторых (третьих) столиц (Пальмир) в чем-то схожи. Но разве был СПб. хотя бы подобием какого-нибудь Брюгге? Что он – какой-нибудь ганзейский город? Едва ли. Потому иностранцы и не распознавали, в чем разница между Одессой и любым средиземноморским портовым городком. Зато тот же Кюстин отменно изобразил мавзолей-Питер. СПб. – неуклюжая пародия на европеизм. Одесса органично «европейчна» – потому что ее *придумали* для себя европейцы, безо всякой задней мысли. Просто чтобы приторговывать, получать барыши и жить по заведенному в какой-нибудь Южной Италии (Франции и пр.), Северной Турции (и пр.) регламенту: биржа, театр, казино и др., и пр. Практично, дешево и сердито. А разные Фельнеры и Гельмеры – это уже другой этаж истории.

Продолжу об эмоциях (впечатлительности). Я, знаете, все сколько-нибудь важные решения всегда принимал интуитивно – это не стиль, не линия поведения, это я сам. Поэтому – что музыка, что стихи, – слушаешь неконцептуально. Укальзываешься, угадываешь – но, мне так кажется, это больше *наше с вами*, чем авторское. Это не комментарии, а нечто самоценное. Ведь непонятно, что значимее: груды беспорядочных предметов на столе или натюрморт. Я хочу сказать, что мы не толкователи, вот что. История – сама по себе, а «Евгений Онегин» – сам по себе. Они не сшиваются, не брошюруются. Я, может быть, жестко что-то сформулировал (прежде), и Вы обиделись. Напрасно. Просто пушкинский европеизм – это всего-навсего *звучащие слова*, а не (им же описанные) казино или театр.

Это так. Хотите ужаснуться? Вот черновиковые варианты всего одной «одесской строчки»:

Сменяет пылкого коня
Сменяет гордого коня
Сменяет легкого коня
Сменяет слабого коня
Сменяет быстрого коня
Сменяет хилого коня

То же самое – о «звонкой мостовой», причем здесь (в черновиках) ясно: мостовая спасет «от потопленья»; вот, оказывается, каков смысл этого «спасенья» и «кованой брони». Вот и получилось у Пушкина: два пишем, один в уме. Получилось музыкальнее, но Вы почувствовали здесь что-то нелогичное. Вы – говорю искренне, – как Набоков, угадали ошибочное прочтение рукописного текста (опосредованного).

Дорогая Валентина Степановна! Если Вы обнаружили в моих письмах что-нибудь «учтиво-назидательное», «несколько высокомерное» и пр., то, уверяю Вас, это, вероятно, по той же причине, что и в комментарии к «звонкой мостовой»: я написал одно, а Вы угадали другое. Откуда эта колючая подозрительность? Зачем она?
Ваш Губарь»

«Дорогой Олег!

Я сегодня пыталась поздравить Вас с днем рождения Александра Сергеевича, но телефон молчит. Поэтому вновь берусь за эпистола.

Вы, очевидно, полагаете, что интерес к нашей переписке, вернее, к ее предмету у меня угас. Отнюдь.

Моя первая записка на образовании Онегина оказалась не единственной. Пушкин не тянет резину, а «без предисловий, сей же час» знакомит нас со своим героем. И вот любопытно, что, сообщая множество деталей (ну хотя бы знаменитое меню ресторации Талона, перечисление джентльменских услуг, наполнявших кабинет философа в осьмнадцать лет, и многое другое – кстати, меня давно восхищает глагольно-социальная характеристика петербургских типов: «Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенка спешит» – словно острым карандашом блестящего рисовальщи-

ка подмечены сословные различия и характеры), так вот, так подробно воссоздавая самую приближенную к Онегину материальную и эмоциональную среду обитания, Пушкин очень скуп, словно сквозь зубы, цедит сведения об онегинской родне. Несколько строк об отце, даже имени мы его не знаем, ни слова о матери. Отец что, вдовец? И вспомним, как густо именуется Александр Сергеевич окружение и родню Татьяны – от имен родителей, сестры, даже знаем, как звали супруга няни Филипповны, до многочисленных соседей и т. д.

Я думаю, почему? И тут у меня возникает две версии, два моих подозрения, что Пушкин, как мы уже не раз убеждались, в ясности и прозрачности романа прячет смысловую глубину подтекста, зашифрованной сокровенности. Не хочется поминать всеу любимого нами Борю Херсонского, но так и хочется что-нибудь закрыть вокруг фрейдизма (?).

Можно было бы подумать, что в мае-июне 1823 года в Кишиневе, когда «даль свободного романа» Пушкин «еще ясно не различал», эта холодноватая отчужденность от семейных уз (о ларах и пенатах не может быть и речи) – некоторая задержавшаяся дань романтическим условностям, горделивому одиночеству монструозных романтических героев. Да нет!

С первых же онегинских строф – отсутствие романтической патетики, сталактитов романтического вымысла. Почему же Онегин – один? Мне показалось, что подобно тому, как Татьяна останется для Пушкина вечной Лариной (я уже как-то вам писала о ларах, о корнях, о том, чтоб не замутить сокровенный смысл фамилии Татьяны, появляется князь N). Что же, не мог подобрать Пушкин своей любимице достойную партию среди знаменитых фамилий – вон только звучных имен героев 12-го года сколько.

Нет, останется для Пушкина и для нас Татьяна Лариной. А Онегин? Я возвращаюсь к тому, о чем уже было говорено в нашей переписке. Может быть, не менее сокровенная пушкинская нега, окутанная, словно в раму упрятанная фамилия героя, побудила Александра Сергеевича отмахнуться, не делиться, не разбавлять ее на предков, на родичей.

Онегин – один. И Татьяна – одна. Какое схожее несходство или же наоборот. Как много в каждом Пушкина.

Вот такими мыслями сегодня, 6 июня, я захотела поделиться с Вами, дорогой Олег Иосифович, отложив на недолгое время домашние хлопоты и «увлекательное» чтение дипломных записок.

Валентина Голубовская»

«Дорогая Валентина Степановна!

Хорош же этот наш Голубовский, доставивший письмо от 6 июня... 10 августа! Представьте себе, что такому поручат разносить наши пенсии. Пушкин, между прочим, успел за это время вернуться «с саранчи», затеять полемический дебош и оказаться (по-моему, уже 9 августа) в Михайловском. Подозреваю, что Е. М. большой ревнивец (?). И у него к тому есть все основания. Не так давно видел Ваши с ним любительские фото, вероятно, хрущевского сезона, и какой кураж был в Ваших взорах! Помню такой же прищур фотоэтюда с Ксаной Добролюбской – в такие «лица в простой оправе» влюбляешься с первого взгляда. У меня в книжке есть метафора, лучше которой и не найду. Там речь идет о случайной знакомой, которую замечаешь вдруг – «когда вся она – вспыхнувший светофор», а так стоишь, переминаешься с ноги на ногу, не понимаешь, возможно ли встречное движение.

Читая Вас, сразу же возрадовался первой же пушкинской (бытописательской) цитате, очень для меня значимой. Тут же совершенно прозрачная параллель энергичного движения в Северной и Южной Пальмире: в СПб. – встает, идет, тянется, спешит; в Од. – «идет купец взглянуть на флаги», «сошлись два купца» и пр. Но самое симпатичное – «с кувшином Охтенка спешит». Логично, вроде бы, что в кувшине – молоко, либо что-нибудь кисломолочное. А если поразмышлять, то и не получается молока: сколько (и – на сколько) его в том кувшине?! Бессмысленное занятие. Ответ отыскался у Гоголя, который просто-напросто развернул лаконичную пушкинскую цитату в «Невский проспект» (так что А. С. дарил его идеями не только «Ревизора» и «Мертвых душ»). Раскатав упомянутую «бытовую динамику» на три-четыре десятка страниц, Н. В. не забыл и «мальчишек в пестрядевых халатах, с *пустыми штофами*». Вот, оказывается, в чем дело: Охтенка *похмеляется!* Стоимость «стекла» была довольно велика – полштофная пустая бутылка стоила не менее 5 коп. серебром.

Стоимость «питей» – того же порядка. Поэтому покупщики пользовались многоразовыми штофами, кувшинами, графинами. Если бы А. С. спроецировал эту ситуацию на Одессу, то, вероятно, получилось бы, что похмеляется Молдаванка.

Ваши версии о «сиротстве» Онегина, мне кажется, попадание в десятку. Семья – и родительская, и собственная, – была просто-таки какой-то трофической язвой для Пушкина. Я как-то цитировал совершенно объективную и беспристрастную Е.П. Янькову, очерчивавшую детскую беспризорность маленького Алек-

сандра – нескладного замарашки и увальня. Тут, конечно, не без дедушки Фрейда, но больше со стороны равнодушных ханжей-родителей. А потому ему всю жизнь пришлось доказывать всему миру, что он блестящий кавалер, самый галантный танцор, отменный наездник, дуэлянт, игрок и др., и пр. Всю жизнь выяснял финансовые отношения – с родителями, потом с Павлищевым и Левушкой, не говоря уже о кредиторах. Все верно: покой (и нега) нам только снится. Пушкин вообще никогда не распространялся о своих семейных проблемах и меньше всего желал впрыскивать их в живое тело романа. Впрочем, жизненная программа его – вот что меня разочаровывает. Ведь, кажется, научен «трудным детством», так нет же, подавай ему не просто жену, а корову-рекордистку, самую-самую, такого себе ротвейлера «новых русских» (может, я здесь что-нибудь соврал, так как плохо разбираюсь в песьих породах). Сам же себя загнал в угол (пятый?), из которого выбрался как бы православной формой самоубийства – дуэлью. Вот что меня во всей этой истории разочаровывает. Не финальная тупиковая ситуация, а именно



какой-то купеческий выбор подруги жизни, изначально имевшей вид романтической героини (Татьяны Лариной?). Не хочу сказать, что он выбирал как барышник, нет, Гончарова – бесприданница. Но гениально тонко чувствующий человек, мечтающий о покое и неге, живущий в последний раз, выбирает *формально*. Вот это меня печаливает. Пушкин был исключительно, абсолютно одиноким – Вы правы! Но... где та другая одиночка, вторая половина одиночества? А. С., получается, прогнозировал в «Онегине» свою судьбу – не быть ему с Татьяной! Снова что-то фрейдовское, попахивающее мазохизмом.

Грустно все это, дорогая Валя. Радостно зато, что вас я люблю даже больше, чем Пушкина.

Ваш Губарь»

